

Д. В. Г

Шере

Дмитрий Васильевич Григорович

Переселенцы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11699251

Аннотация

«Переселенцы» – роман талантливого русского писателя-реалиста Дмитрия Васильевича Григоровича (1822 – 1900).*** Это история о жизни бедного крестьянина Тимофея Лапши и его семейства. В произведении подробно описан крестьянский быт, традиции и трудности, с которыми приходится сталкиваться простым рабочим людям. Д. Григорович также известен как автор произведений «Бобыль», «Неудавшаяся жизнь», «Капельмейстер Сусликов», «Прохожий», «Смедовская долина», «Свистулькин», «Пахарь», «Кошка и мышка», «Пахатник и бархатник», «Акробаты благотворительности». Дмитрий Васильевич Григорович стал знаменитым еще при жизни. Сам будучи дворянином, он прославился изображением быта крестьян и просто бедных людей.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	4
I. Заезжий торгаш	4
II. Лапша и его семейство	12
III. Ребятишки	18
IV. Беседа	21
V. Притон	25
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Дмитрий Григорович ПЕРЕСЕЛЕНЦ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Заезжий торгош

Только что наступили первые майские дни.

Было воскресенье. Благодаря отличной погоде и, особенно, праздничному дню улица сельца Марьинского снова оживилась, как только прошел послеобеденный час. До сих пор, то есть между полуднем и четырьмя-пятью часами вечера, большинство марьинских жителей отдыхало; на улице слышались только возгласы мальчишек, игравших в бабки на недавно просохнувших, но гладко уже утопанных лужайках; к этим крикам присоединялся теперь мало-помалу скрип ворот, которые пели на всевозможные лады; на завалинках показывались старики с заспанными глазами и вклоченными волосами, в которых виднелись соломенные стебли – знак, что народ перебрался уже на летние квартиры: в сараи и риги; к старикам выходили соседи. Группы вскоре увеличились присутствием старух с внучатами на руках и баб в пестрых праздничных передниках и писаных ярких головных платках. Старухи и бабы недолго, впрочем, останавливались у завалинок: они большею частью выходили на середину улицы и становились отдельными кучками, в которых тотчас же обнаруживался характер суеты и беспокойства; покажется ли баба в отдалении, ее уже никак не пропустят мимо: «Тетка Авдотья, а тетка Авдотья... куда ты... ась? подь к нам, касатка! а?..» Минуту спустя голос тетки Авдотьи дребезжит заодно с голосами ее товарок. На улице, освещенной лучами вешнего солнца, заметно уже склонившегося к западу, чаще стали появляться молодые девки, сопровождаемые неизменными их спутницами, маленькими девчонками; посмеиваясь в ладони и шушукая при встрече с парнями, девки направлялись к хлебному магазину, расположенному на одной линии с избами и отделявшемуся от последних ветлами. Там, под навесом, бросавшим желтоватую тень, которая делалась все сквознее и золотистее по мере того, как солнце опускалось к горизонту, собралась уже порядочная ватага молодежи; кто стоял, перешептываясь с соседкой, кто сидел, закрыв ладонью нижнюю часть лица и украдкой поглядывая на парней. Парни в свою очередь переминались с ноги на ногу и также молчали. Казалось, вся молодежь Марьинского собралась уже под навесом, но никто еще не подавал голоса; до сих пор по разговорной части отличалась одна лишь молоденькая бабенка с вздернутым, раздвоенным на конце носом и быстрыми карими глазами.

– Что ж вы, девки? а?.. Ну, что сидите руки-то скламши? а? полно вам, взаправду! – надсаживалась она, перебегая от одной группы к другой. – Становись в хоровод, хватайся за руки – ну!.. и-и-эх!

На горе-то мак, мак, Под горою так, так!..

– Что ж вы, красные? становитесь! «За-а-инька, беленький!» – подхватывала она, снова принимаясь петь, причем всякий раз зажмуривала глаза и выставляла напоказ ряд мелких белых зубов. – Что ж вы не подтягиваете? а? да ну же, ну! Полно вам спесивиться-то!

Но старания ее не подвигали дела; слышно было покуда, как щелкали орехи, как шушукали и втихомолку посмеивались; вообще под навесом царствовала та нерешительность, выражающаяся подталкиваньем локтем и вопросительными взглядами, которая предшествует девичьему веселью. Улица между тем все более и более оживлялась, говор усиливался; кой-где слышался хохот, кой-где раздавались нетерпеливые спорные возгласы; кой-

где, и преимущественно из бабьих кружков, раздавалось дребезжанье, весьма похожее на звук битой посуды, которую положили бы в кастрюлю и начали бы трясти изо всей мочи; в одном из таких кружков сильное размахиванье руками и слишком уже часто повторяемые имена Домны и Дарьи служили несомненным доказательством, что там успели уже повздорить.

Наконец в дальнем углу амбарного навеса робко, вполголоса, затянули песню; повидимому, этого только и ждали: к голосам этим тотчас же присоединились другие. Подстрекаемые востроглазой запевалкой, парни и девки выступали из-под навеса, схватывались за руки и становились в круг; хоровод устанавливался. Еще минута, и, нет сомнения, звонкая песня заглушила бы уличный говор... но надо же было случиться, чтоб в эту самую минуту в околицу Марьинского въехал воз с красным товаром.

Въезд сопровождался таким неистовым, единодушным лаем собак, что все стоявшие спиной к околице невольно обернулись. Хозяин воза, или варяг – так называют в наших деревнях этих торгашей, – не успел подобрать ног от собак, которые, как ядра, летели к нему навстречу, как уж вся деревня заметила его появление. Началось с того, что бабы, хлопотавшие более других о примирении Домны и Дарьи, немедленно направились к возу. Достоинно замечания, что Домна и Дарья, предоставленные на собственный произвол, тотчас же успокоились; в голове Дарьи мгновенно возникла мысль о ситцевом переднике, который посулил купить муж, как только придет торгош; Домне пришла вдруг крайняя надобность прикупить тесемки; одна побежала отыскивать мужа; другая, поправляя головной платок, устремилась к торгошу. Примеру ее последовали многие девки и парни. Из хоровода то и дело убывало, к великому неудовольствию запевалки, которая давно уж била в ладоши и шелкала пальцами над головою; впрочем, она вскоре утешилась и побежала, куда бежали другие.

Спустя самое короткое время воз так облепили, и такая густая толпа окружила его, что старикам, сидевшим на завалинках, стали только видны шапка торгоша и верхний конец дуги над ушами его клячи. Все разом говорило, тискалось и осыпало расспросами торгоша, который решительно не знал, куда повернуть голову.

«Кумач есть?..» – «Покажи тесемку...» – «Почем иголки?..» – «Эй, слышь, на яйца меняешь?..» – «Девушки, касатушки, глянь-кась, серьги-то, серьги!..» – «Ой, батюшки, задавили!..» – «Куда лезешь?.. чего не видали?» – «А тебе небось одной глядеть-то хочца!.. ишь ее прет... Ну! ну!..» – «Ты, слышь, брат, отколева?..» – спрашивали невпопад с другой стороны.

Покупали, однако ж, очень мало; до сих пор торгош отмерил только два аршина тесемки, сбыл моток ниток да муравленую глиняную дудку – и те, впрочем, променены были на яйца. Тем не менее все продолжали тискаться, спрашивали о цене каждой вещи, лезли друг на дружку, не щадя боков. Некоторые бабы, побойчее, взмоштились даже на облучок воза. Хозяина окончательно затормошили. Бабы, сидевшие на облучке, видя, что толку не доберешься, принялись сами распоряжаться: кто примерял наперсток, кто шелкал ножницами, кто накидывал на голову платок, кто прикладывал кусок ситца к переднику. Но и тут-таки более других показала себя востроглазая бабенка, так много хлопотавшая под амбарным навесом: повязавшись желтым платком, перекинув через голову полновесное ожерелье из цветных бус, она подпрыгивала на облучке и, показывая присутствующим раскрасневшееся смеющееся лицо, поминутно вскрикивала: «И-их-на!»

– Что ж это вы в самом деле, бабы?.. Эх их! – заговорил, наконец, торгош, потряхивая шапкой, устроенной вроде кучерских шапок, с тяжестью на макушке, но тяжесть, вероятно от долгого употребления, съехала на сторону и образовала какой-то неуклюжий, тяжелый ком, находившийся в страшном противоречии с движением головы своего владельца. Ком этот то сползал на затылок, то свешивался на глаза, то переваливался справа налево, но всякий раз в сторону, противоположную той, куда наклонялась голова, – обстоятельство,

не очень, по-видимому, беспокоившее хозяина; однако ж, несмотря на сильные эволюции верхней своей части, шапка все-таки плотно держалась на лысой голове.

– Ну, чего, чего лезете?.. Совести в вас нет, никакого постоянства нет! – подхватил старый торгаш голосом не столько сердитым, сколько поддразнивающим.

– Что ты на нас, касатик? разве мы? – бойко возразили две бабы, торопливо сбрасывая платки, – вишь вон энта-то... глянь-кась, вишь что наверхтела! Ей, небось, не скажешь, – прибавила одна из них, кивая головою на запевалку, которая никак не могла освободиться от ожерелья, украшавшего ее шею.

– Вот оборви нитку-то, рассыпь, рассыпь бусы-то! – сказал старик, протягивая руку. – Давай сюда... эка баба... давай!

– На, на, на, ешь! – возразила запевалка, освобождаясь, наконец, от ожерелья и отталкивая его с видом величайшего пренебрежения, – рассыпешь! – подхватила она, передразнивая старика и вспыхивая, – не видали дряни какой!.. Ты за другими-то лучше поглядывай! – заключила она, бросая недоброжелательные взгляды двум бабам, сидевшим насупротив.

– Ладно, ладно! слезай лучше до греха! – перебил старик. – Повернуться не дадут, облепили как!.. Покупать так покупать, а то что так-то языком болтать?.. Никакого в вас постоянства нет, бабы! право, нет! Слезай, говорю...

– А ну его взаправду, бабы! плюньте! вишь невидаль какая! – проговорила востроглазая бабенка, соскакивая с воза.

– Ладно, ладно!.. Эка заноза какая! право, заноза! Коли покупать не хотите, стало, стоять здесь нечего... одни пустые разговоры...

– И то, – промолвил какой-то мужик, до той поры стоявший совершенно смирно, – вон! чего лезете? вон! – неожиданно добавил он, принимаясь работать локтями.

Послышались хохот, писк, брань; толпа стала редеть. Немного погодя под амбарным навесом раздалась песня, возвестившая, что хоровод снова устроился. Это обстоятельство еще заметнее очистило толпу вокруг воза. Вскоре осталось несколько мужиков и баб, которые не отошли прочь потому только, что в праздничный день делать нечего и надо же стоять где-нибудь.

– Поди ж ты, что наделали! не сообразишь никак!.. Взяли на два гроша всего, а разрыли мало что на пять рублей, – сказал старый торгаш, оглядывая присутствующих, которые засмеялись.

Торгашу было уж лет шестьдесят, но он представлял из себя еще свежего, здорового старика; лицо его, шея и руки сохраняли постоянно такую красноту, как будто старик никогда не сходил с банного полка, где его парили самым жгучим венником; краснота эта была отличительным и самым резким свойством его наружности, не лишенной веселости и прямоты.

– Что станешь с ними делать, с бабами-то? – подхватил он, потряхивая головою над грудями взбудораженного товара и приводя в движение макушку шапки, – не соберешь никак... та: «дедушка, подай!», другая: «дедушка, покажь!» – никак не сообразишь... совсем затормошили!

– Ничаво не сделаешь! – отозвался кто-то.

– Известно, бабы – кто им рад? – проговорил рассудительным тоном мужик, исполнявший за минуту пред тем должность полицейского.

– Такой уж, видно, ихний род! – смеясь, заметил другой.

– И диковинное это, право, дело... – начал было снова старик; но третий мужик, малый лет тридцати, косой, как заяц, и рябой, как кукушка, который во все время предыдущего разговора ощупывал лошадь торгаша, рассматривал с величайшим любопытством его сбрую и подводу, перебил его:

– Отколева бог несет? – спросил он.

- Еду, то есть, откуда?
- Нет, каких примерно губерний? – подхватил рябой мужичок, укладывая локоть правой руки на облучок, а пальцами правой руки притрогиваясь к оловянным зеркальцам, сверкавшим из бумажного свертка.
- Губернии Ярославской, – словоохотливо возразил старик, – а вы, братцы, здешние?
- Здешние, – отозвались мужики, причем тот, который лежал на локте, приподнял угол бумаги, скрывавшей мотки с шелком.
- Ваша деревня как, братцы, прозывается... Марьинское?.. так, что ли?
- Марьинское...
- Так и есть; стало, здесь... так и сказывали: на третьей версте, сказывали, от большой дороги, – проговорил старик, озираясь на стороны. – Скажите, братцы, нет ли у вас такого мужичка... Тимофеем звать?.. не припомню только: Федосеев ли, Демьянов ли...
- Есть... Федосеева нет, а Демьянов есть.
- Какой-такой Демьянов? У нас трое Демьяновых. Вон насупротив один... вон...
- Эй, братцы! уж не Лапша ли? – ухмыляясь, спросил весельчак.
- Какой Лапша?
- А так прозвали у нас одного мужичка Лапшою... Лапша да Лапша – так и стали звать.
- Тебе, дядя, как сказывали?
- Сказывали: как въедешь, говорит, в околицу, на левой руке, тут и живет... никак пятая изба, никак шестая с краю... не помню...
- Ну так и есть, Лапша! – воскликнул рябой мужичок, отличавшийся любознательностью.
- Стало, есть какая надобность?
- Нет, брат его наказывал кланяться, – возразил старик, принимаясь за укладку товара. При этом известии мужики переглянулись между собою, после чего глаза их с заметным любопытством обратились к старику, и все разом заговорили:
- Где ты его встрел?.. где?.. в коем месте?..
- Нонче зимою встрел, ехамши из Алексина.
- Ах он, разбойник! – закричали мужики в один голос.
- Восклицание было так неожиданно и вместе с тем так единодушно, что торгош невольно поднял голову и взглянул на них пристальнее.
- Что вы, братцы? – спросил он.
- Да ведь этот-то, что с тобой встрелся, первый что ни есть мошенник! – заговорили опять разом все присутствующие. – Вот уж никак пятый год в бегах. Тем только и спасся – бежал! Ему давно бы в Сибири быть...
- Как так?
- Да так! Таких делов наделал... и-и-и!..
- Он мне сказывал, как я с ним встрелся, сказывал, сапожным, вишь, мастерством занимается.
- Ах он, разбойник! – подхватили опять присутствующие.
- Где ты с ним встрелся? – спросил один из толпы.
- Точно, теперь как припомню... точно, чудно как словно, – начал старик. – Ехал я ноне зимою, пробирался к Алексиному городу; недалече уж было до ночлега – может, этак верст пяток оставалось; уж примеркать стало... знамо, дело зимнее, день-то короткий, к тому и время такое было: метель, погода такая посыпала... Слез этто я с воза-то, рукавицами похлопываю, сам иду подле лошаденки. Иду так-то, смотрю, вижу – идет впереди человек; с ним паренек... так, мальчонок лет этак восьми, а может, и всех десять годков будет... Ну, поровнялись, нагнал их, поздоровались. Куда? примерно откуда? Разговорились... Стал этто он у меня просить парнишку посадить, – посадил. Так и так, говорит, сапожным, гово-

рит, мастерством пробавляюсь. «Это, говорю, сын у тебя?» – «Нет, говорит, чужой, в ученье взят...» А сам такой-то обдерганный: ни на нем, ни на парнишке полушубка нетути. Я и давай спрашивать: «Где ж, говорю, поклада-то у тебя? чай, струмент есть?» – «Жительство, говорит, имею поближности, в деревне; там, говорит, струмент оставил...» Такой-то словоохотный, спрашивает, куда еду. «Вы, говорит, везде слоняетесь; неравно, говорит, доведется в Кашире побывать, в нашей сторонке; там есть, говорит, сельцо такое, Марьинское прозывается... коли приведет бог побывать, говорит, спроси мужичка Тимофея» – сказал, как примерно найтить – «кланяйся ему; скажи, мол, брат поклон посылает...»

– Ну так, так! он и есть, он! Вишь, разбойник! – заговорили опять в толпе.

– Поди ж ты, что выдумал – а? сапожник! Ах он проклятый!.. И парнишка с ним... по отцу пойдет; уж это как есть что по отцу. То-то давно слухов-то не было... Поди ж ты! сказалси!

– Так, стало, паренек ему не чужак? – спросил удивленный старик.

– Какой чужак! Говорят тебе: сын, родной сын, – подхватили мужики, перебивая друг друга. – В те поры, как бежал от нас, в те поры и парнишку свою увел. Вот уж пятый год в бегах...

– О чем вы тут? – неожиданно спросил новый мужик, подходя к возу.

– Слышь, вот старик с Филиппом встретя!.. Филипп, слышь, Лапши нашего брат, беглый-то.

Весть эта произвела, казалось, на новоприбывшего такое же точно впечатление, как и на его товарищей.

– Поди ж ты, какое дело! – проговорил торгаш, – а мне и не в догадку; думал, взаправду мастеровой.

– Вот нашел! Плут первый сорт, темный плут! Чудно, как он с тобою чего не спроворил. Знамо, такими делами живот кормит. Спроси, здесь всякий скажет... его по всей округе-то и то знают... Эй, Пантелей! подь сюда! – заключил вдруг рябой мужичок, принимаясь махать руками по направлению к околице, – слышь, эй! Филиппа видели, Лапши нашего брата... вот старик встрел...

– Где? в коем месте? – спросил, ускоряя шаг, Пантелей, человек мрачного и сурового вида, в котором, по черным и обгорелым рукам и носу, выпачканному сажей, нетрудно было узнать кузнеца.

– Далеко, брат! не поймаешь! А ты уж обрадовался, думал, возьмешь, – начал было весельчак, но другие мужики перебили его и заговорили вместе:

– Не нонче встрел, зимою, у Алексина... далеко, брат, не догнать...

– Вот, дядя, спроси у него, у него спроси: он ти скажет, какой-такой Филипп человек есть, – перебил в свою очередь рябой мужичок, стараясь обратить на себя внимание торгаша, – совсем было по миру пустил, совсем решил! – прибавил он, выразительно моргая на кузнеца. – Эй, ребята! Эй, слышишь? – довершил он, снова начиная махать руками и поворачиваясь то в одну сторону улицы, то в другую. – Эй, сват Нефед! ступай сюда: Филиппа видели. Лапши нашего брата... эй...

Даже без этого известия многие из пожилых мужиков и баб, не принимавших участия в хороводе, направлялись к возу. Достаточно ведь увидеть издали двух-трех человек, собравшихся около одного места, чтоб привлечь толпу; но при имени Филиппа, брата Лапши, каждый из подходивших ускорял шаг. Вскоре вокруг воза снова составилась порядочный кружок. Рябой мужичок перестал между тем кричать: он торопливо передавал новость, переходя от одного к другому, – никто, однако ж, не хотел слушать: после первых двух слов каждый махал только рукою, отходил прочь и обращался с расспросами к торгашу.

– Надо полагать, братцы, этот Филипп дал себя знать... вишь, как вы о нем хлопчете! – сказал старик, которого начинало забирать любопытство.

Осажденный новыми расспросами, он очень охотно повторил встречу свою с Филиппом. Во время рассказа, прерывавшегося бранью, как только произносилось имя Филиппа, рябой мужичок ни на секунду не оставался в покое; его точно укусила ядовитая муха: каждый член его, каждая черта лица его, особенно глаза и брови, находились в страшной подвижности: он то подмигивал, то дергал за рукав соседа, приглашая его быть внимательнее, то обращался с пояснительными жестами, наконец не выдержал и неожиданно крикнул:

– Экой разбойник!

Выходка эта встретила на этот раз живое сочувствие в окружающих; крупная брань, как картечь, посыпалась отовсюду.

– Слышь, дядя! у этого, вон у этого две лошади увел! – вмешался рябой мужичок снова, указывая на кузнеца. – Две лошади увел, сам тебе скажет... Скажи, Пантелей, как дело-то было...

Глаза присутствующих мгновенно перешли от торгаша к Пантелею; но Пантелей обманул всеобщие ожидания: он упорно молчал, и только выражение его грубого лица да нахмуренные брови высказали чувства, пробуждавшиеся в нем при воспоминании о Филиппе.

– Кому он здесь только не враг? – сказал седой старик, – о сю пору все поминают. Даром пятый год слухов нет, всем на шею сел.

– Вор ворует – мир горюет. Кто ему, вору-то, рад!

– И парнишку-то свою погубил, окаянный! – прокричала некстати какая-то старуха.

– То-то, я чай, наш Лапша-то подивится, как проведает. Он думает, брата давно уж в живых нет; сам намедни сказывал...

– А ты и поверил! – сурово перебил кузнец Пантелей.

– На таких людей погибели нет; ничего им не делается, – заметил кто-то.

– Ну, а что, братцы, каков у вас этот-то брат? – спросил торгаш.

– Лапша-то?

– Да.

– Все единственно... такой же разбойник! – проговорил кузнец.

Выходка кузнеца не заключала в себе, казалось, ничего особенно забавного, тем не менее в толпе многие разразились хохотом: надо полагать, сближение, которое сделал кузнец между Лапшой и его братом, показалось присутствующим чересчур уж несбыточным, невероятным.

– Стало, такой уж, видно, весь ихний род: все одним путем-дорогой пошли! – произнес торгаш, покачивая головою, причем макушка его шапки обнаружила несколько раз намерение сорвать с плеч голову своего владельца.

– Вся семья таковская! один в одного! – упрямо подтвердил кузнец.

Снова некоторые засмеялись.

– Полно, брат Пантелей, полно! не греши! – с укором произнес степенного вида мужик, молчавший до того времени. – Станешь так-то про других худо говорить, узнаешь и про своих. Коли говорить, так говори настоящее...

– Я и то настоящее говорю: мошенник – да и все тут! Степенный мужик досадливо махнул рукою и отвернулся.

– Известно, один брат грабит, другой концы хоронит, – сурово подхватил кузнец. – Слышь, не знает Лапша, жив ли брат – как же! Думаешь, как летось пастух наш встрел Филиппа у рощи, думаешь, этот не знал? Они заодно действуют. Ты верь ему, что он дурачком-то прикидывается, верь...

– Полно, говорю, – начал опять степенный мужик, – не чужим рассказываешь. Тот ограбил тебя – точно; ты на него и серчай: говори кому хошь, всякой скажет: «грабитель». А этого позорить тебе не за что. Брат за брата не ответчик! Лежачего, брат, не бьют – не приходится!

– Уж это как есть...

Многие из присутствующих, в том числе и бабы, вступились за Лапшу.

– Ну вас совсем! – с досадливым нетерпением крикнул Пантелей и, толкнув плечом двух-трех соседей, пошел своей дорогой.

– Как распрогневался! не по вкусу, стало, пришло! – смеясь, заметили в толпе.

– Не пуще силен, не страшно! – сказал с пренебреженьем степенный мужик, вступившийся за Лапшу. – Знамо: ну, за что он его позорит? И без того обиженный человек кругом как есть. Через брата своего всего решился, да за его же худые дела отвечать должен.

– Это точно, настоящее говорит. Человек, точно, смирный, – отозвалось несколько голосов, в числе которых особенно прозвенел голос рябого мужика.

– Такой-то смирный, касатик, и... и... телята свои лизут! – опять некстати крикнула старуха.

– Кабы, как вот он говорит, заодно действовали, этот не сидел бы без хлеба. От мира не утаишься: все на виду! – подхватил степенный мужик, оставшийся, повидимому, совершенно равнодушным к поощрительным возгласам окружавших, – а то ведь мы видим: беднее ихней семьи не сыскать по всей округе...

– Уж очевидно, добре отощали, родимый, после брата-то, как брат-то убог, отощали добре, – снова вмешалась старуха.

– Ребят много: они пуще всего одолели! – заметила другая.

– Эк сказала! рази у него одного ребята-то! небось у всех есть! – проговорил полунебрежно, полунасмешливо высокий мужик с желтыми, как лимон, волосами.

Мужик этот, которого звали Мореем, один из всей толпы не вмешивался до сих пор в разговор; он только слушал, щурил глаза и почесывал затылок с таким видом, что никак нельзя было определить, сердится он или радуется.

– Что ж? он правду говорит: у кого достатки, и тем ребята в тягость; а вот как у Лапши их шестеро, знамо, сокрушают! – сказал степенный мужик, – только совсем не через это Лапша расстроился; главная причина: сам, через себя, а тут еще пришел да брат доконал.

– Так что ж? ему теперь поправляться надуть; радоваться надуть, что от худого человека ослобонился, – сказал торгаш.

– Вот поди ж ты! а он еще хуже стал жить.

– На него, касатик, напущено; лихой человек напустил! – неожиданно перебила все та же старуха.

Морей сомнительно покачал головою и недоверчиво усмехнулся; после этого лицо его сделалось вдруг, в одно мгновение ока, серьезным и даже гневным; он пригнулся к старухе и быстро, как словно выстреливая из пушки, прокричал ей в самое ухо:

– Напущено! Кто напустил? сам напустил!

После этого Морей снова впал в молчание и только улыбками выражал свое неудовольствие, когда вступались за Лапшу, что, скажем мимоходом, случалось довольно редко.

– Еще Господа Бога благодарить должен, что такая жена ему попала, – сказал степенный мужик, – кабы не она кажись, не было бы у него с ребятенками-то ни хлеба прокормиться, ни рубашонки покрыться; так ходили бы нагишом, голодные!.. Не ему бы только ею владеть, потому, надо правду молвить, мужик пустяшный; только женой одной все и держится – голова всему дому!..

Во время этих объяснений старый торгаш не переставал заниматься укладкою своих товаров. Прикрывая воз кожею, он попросил, чтоб ему указали избу Лапши.

– Вон, седьмая с краю, от околицы; вон, что крыша-то обвалилась, ворота обдерганные! – заговорил, махая руками и двигая бровями, рябой мужичок, – то-то, я чай, подивится Лапша-то, как про брата проведает... особливо коли взаправду думал, брата давно в живых нет...

– Ах-э! – крикнул неожиданно Морей и схватил себя за голову.

– Что ты?

– Зачем я ему дал крупу-то! – крикнул Морей с видом отчаянья.

– Кому дал?

– Лапше! стал это просить, пристал: «дай да дай» – я ему и дал.

– Ну так что ж?

– Отдать, говорит, нечем, пропало, значит, добро! Ах-э! – заключил Морей, снова схватывая себя за голову.

– Ну что! есть о чем горевать! – сказал торговец, – коли бедный человек, господь воздаст тебе за него. А я заеду к нему, погляжу, – промолвил он, как бы раздумывая сам с собою, – заехать все надобно, поклон отвезти: каков ни есть, все брат; одна полоса мяса – не оторвешь.

– Что говорить! – сказал степенный мужик, – только вряд порадуется, как проведает. Добре уж очень тот-то худую по себе память оставил.

Старик прилачился на облучке, раскланялся с толпою и поехал к избе Лапши, сопровождаемый с одной стороны, рядом, беспокойным мужичком, который начал его убеждать переменить чеку, оказавшуюся, по его мнению, ненадежною, с другой стороны хороводной песней, которая то звенела в ушах, как сотня колокольчиков, то гудела, как шмель, смотря по тому, подхватывали ли бабы и девки, подстрекаемые востроглазой запевалкой, или подтягивали одни парни.

II. Лапша и его семейство

Подъехав к Тимофеевой избе, старый торгаш соскочил наземь, внимательно осмотрел, плотно ли увязана кожа, прикрывавшая товар, и пошел к воротам.

Напрасно искал он веревочки, которая обыкновенно приводит в движение деревянный засов, – засова не существовало, да и не к чему было: целых двух тесин недоставало в воротах, и будь они даже крепко замкнуты изнутри – все равно: каждый мог бы свободно проникнуть во двор. Старик покачал головою, отпер ворота и вступил на тесный топкий дворик; темные кривые столбы, изъеденные снизу сыростью, сверху червоточиною, еле-еле поддерживали серый, полусгнивший соломенный навес, выказывавший голые стропила; плетень огибал двор с трех сторон и составлял заднюю стену навесов; он сваливался фестонами то на один бок, то на другой, так что местами можно было бы рассматривать, что делалось у соседей, если б соседские плетни не отличались крепостью. В задней и самой темной части навеса находились еще ворота; в настоящую минуту они были настежь отворены и представляли посреди темноты, их окружавшей, яркое солнечное пятно, в котором рисовались, как на картинке, узенькая тропинка, протоптанная в крапиве, гряды огорода, изрытые копытами, и в отдаленье – рига, грозившая разрушением. Косые лучи заходящего солнца, обладавая ярким блеском всю эту заднюю часть владений Лапши, значительно еще скрашивали их пустоту и бедность.

Живые глазки старого торговца снова перенеслись во внутренность двора; но смотреть было решительно не на что: если и выглядывало кой-где хозяйственное орудие, то все до такой степени было ветхо и запущено, что доброму мужику оставалось только плюнуть или пожать плечами. Солнечные, лучи, проходя сквозь щели плетней и дыры навесов, делали из двора Лапши какое-то подобие старого, брошенного решета. Дерево вряд ли даже годилось на дрова. Осмотревшись еще раз вокруг и видя, что никто нейдет, старик направился к дверям сеней¹; в это самое время на пороге сенных дверей показалась высокая худощавая женщина с лицом смуглым и энергическим; на руках ее покоился грудной ребенок.

– Кого тебе, батюшка? – не совсем ласково спросила она, остановясь и раскрывая удивленные глаза.

– Здравствуй, касатка.

– Кого надо? – перебила она уж с явным нетерпением.

– Здесь живет мужичок... Тимофеем звать?..

– Здесь, – как будто нерешительно выговорила она; на лице ее пробежала тень неудовольствия; она не старалась даже скрыть его и промолвила сурово:

– Ты бы, батюшка, коли надобность есть, постучал с улицы, а то прямо на двор влез.

– Я, матушка, не за худым делом...

– Все одно: так лезть, без спросу, не годится – спросил бы прежде...

– Ты, видно хозяйка?

– Хозяйка.

– Дома муж?

– Дома.

С этими словами ворота заскрипели, и на двор вбежали сломя голову две чихающие овцы; с улицы послышался рев, бляенье и топот бежавшего стада, которое только что, вероятно, вогнали в околицу. Следом за овцами показалась молоденькая круглолицая девушка с хворостинкой в руке. Увидя чужого человека, она остановилась, поправила ветхий платок на голове и вопросительно взглянула на смуглую женщину.

¹ Сени, примыкавшая к ним клетушка и задняя часть избы занимали почти половину двора.

– Маша, сходи за отцом, – сказала та, – он никак в ригу пошел: скажи, спрашивают, мол.

Девушка с заметною торопливостью направилась к задним воротам. Профиль ее фигуры резко обозначался в светлом отверстии ворот: ступив на тропинку, где снова осветило ее заходящим солнцем, она без оглядки бросилась бежать по направлению к риге. Видно было, что гости очень давно не заглядывали к Тимофею: появление нового, незнакомого лица приводило хозяйку в заметное недоумение; черные ее брови словно подергивало от внутреннего беспокойства; она глядела на старика такими глазами, как будто старалась дознаться, что могло привести его к ним. Чувство недоверчивости и подозрительности вообще свойственно простому народу, но бедные люди этого сословия присоединяют еще к этим двум свойствам пугливость, иногда вовсе даже ни на чем не основанную, но выходящую, вероятно, из сознания собственного бессилия и ничтожества.

– Надобность, что ли, есть до мужа-то? – спросила она с тою резкостью, которую обнаруживают обыкновенно недовольные, раздраженные люди, поставленные в необходимость скрывать свои чувства.

– Надобности никакой нет, – возразил старик, – только что вот повстречался я ноне зимою с братом мужа, наказывал кланяться.

Трудно выразить, какое действие произвели последние эти слова на хозяйку. Недовольное лицо ее мгновенно выразило испуг и замешательство; смуглые, энергические черты ее вдруг вытянулись, задрожали и покрылись желтоватою бледностью: но это продолжалось всего секунду; ужас ее мгновенно уступил место выражению злобы и ненависти.

– Так вот ты зачем, – крикнула она, быстро перенося ребенка в левую руку и принимаясь правой махать по воздуху, – ступай, ступай подобру-поздорову... не надуть нам ничьих поклонов, не нуждаемся! Брата нету у нас никакого... Коли кланяться велел, стало, насмех... Ступай, ступай! Отколева пришел, туда и ступай! Мы не нуждаемся...

– Я этих делов ваших не знаю, – перебил старик, ошеломленный этим потоком неприветливых слов. – По мне, пожалуй, пойду... Сказала бы: не надо – и делу конец; без крику этого ушел бы... Я ни в чем этом не причастен... потрудил только себя, к вам зашел, вас же жалеючи...

– Всех не пережалеешь, батюшка! мы и в этом не пуще чтобы нуждались, – возразила она как бы тоном оскорбления, но с меньшею, однако ж, запальчивостью. Кроткий, почтенный вид старика, очевидно, обезоружил ее; кроме того, и ребенок на руках ее от сильного движения и крика матери проснулся и заплакал.

– Все это ваше дело, на том, стало, и быть; но только сердать так-то не надо бы... Вам же хотел послужить, а выходит, чуть вашей не вытолкали. Ну, спасибо, касатушка, спасибо...

Сказав это, старик, красное лицо которого превратилось в багровое, поправил шапку и готовился уже повернуть к воротам, когда глаза его встретили Тимофея². Тимофеем торопливо ковылял по тропинке, сопровождаемый круглолицей девушкой.

Один вид приближавшегося мужика невольно уже как-то приводил на память данное ему прозвище. Нельзя сказать, чтоб он был чрезмерно тощ, белокур и длинен; но все существо его, казалось, насквозь проникнуто переминаяем и мямленьем. Ногами передвигал он довольно скоро, но они выступали нерешительно, путались и бились друг о дружку; туловище его с узенькою, глубоко впалою грудью и руки словно повиновались движению ног и колыхались без всякой видимой цели; лицом он был, как говорится, беден, то есть худощав и невзрачен; оно сохранило желтоватый, болезненный вид, к чему примешивалось еще выражение какого-то беспокойного ожидания и пугливости. Он выступал вперед несколько наискось, бочком, на манер того, как ходят раки, тяжело кашлял и часто выпрямлялся, чтоб

² Так по крайней мере подумал старик.

перевести одышку; даже зрение его казалось слабым: он щурил глаза, словно глядел на солнце. Ему было лет сорок пять с небольшим, но волосы его заметно уже начали вытираться на макушке; мягкие, как пух, но плоские, как трава, они свешивались длинными жиденькими прядями до бороды, которая была так редка, что позволяла различать очертание рта и острого, выдавшегося вперед подбородка. Словом, это был совершеннейший тип бессилия и слабости. Физическое бессилие, казалось, соответствовало в нем и нравственному. При взгляде на Тимофея приходила невольно следующая мысль; как это могло стать, чтоб у такого человека было такое множество детей? Достоинно замечания, что большею частью люди этого рода, которые готовы, кажется, сейчас распасться на куски и еле-еле живы, производят почти всегда многочисленное поколение. Одна черта резко только и обозначалась во всей наружности Тимофея: то были брови; они отличались густотой и чернотой; но эта самая особенность служила, казалось, к тому лишь, чтоб окончательно досказать характер внешнего и внутреннего бессилия, проникшего все существо этого человека. Вступая в разговор или даже слушая кого-нибудь, он усиленно как-то приподымал то одну бровь, то другую, иногда даже обе вместе: он точно призывал на помощь какую-то небывалую силу и внутренне старался ободрить себя.

Разварная наружность Тимофея, вероятно заслужившая ему прозвище Лапши, поражала своим контрастом с наружностью его дочери, шедшей рядом; она не была хороша собою, но вся фигура ее дышала необыкновенною подвижностью и оживлением; в смуглых чертах девушки отражались энергия и ум, которые так резко отличали черты ее матери; черные выразительные глаза, окруженные длинными ресницами, и свежесть румянца, который играл на щеках вопреки стесненному воздуху избы, дыму и худой пище, составляли, вместе с молодостью, всю красоту Маши.

По мере того, однако ж, как приближался Тимофей, лицо торговца принимало выражение обычной веселости.

– Э! знакомый человек! – воскликнул он, как только Тимофей показался под навесом. – Вот не чаял, не гадал! Так, стало, ты самый и есть Тимофей? – подхватил он, выступая вперед, между тем как дочь пошла к матери.

Встреча эта, по неожиданности своей, поразила удивлением и дочь и мать.

– Здорово, брат Тимофей, здорово! Вот господь привел свидеться... не думал, не гадал, что к тебе на двор зашел... аль не признаешь?

– Как не признать! – начал Лапша протяжным, грудным голосом, но вдруг закашлялся, схватился обеими руками за грудь и замотал головою.

Весть о приходе незнакомого человека, видно, еще сильнее взволновала его и потревожила, чем жену. Руки и ноги его дрожали.

– Как же! я тебя знаю, – продолжал он тем же нерешительным, робким грудным голосом, – не помню вот только, как звать...

– Неужто забыл? – простодушно воскликнул старик, откидывая голову назад, причем макушка его шапки съехала ему на глаза. – Дядю-то Василья забыл! И то сказать, много время прошло... Ах, Тимофеюшка, Тимофеюшка!.. А я, признаться, совсем уж было идти хотел... Хозяйка твоя добре на меня взъелась, так вот и рвет, со двора гонит... Мы, слышь, тетка, с мужем-то старые знакомые, – подхватил он, обращаясь к жене, которая с выражением удивления переносила глаза от гостя к мужу, – два года будет зимою... кабы не он, добрый человек, напался, я бы совеем и с возом-то доселева в Оке сидел: он, спасибо ему, подсобил... только нас двое тогда и было... С обозом, никак, ехал тогда!..

– С обозом, – возразил, едва оживляясь, Тимофей, – от своих поотстал тогда... под Каширой; точно, сошлись на реке... ты мне еще тогда целковый-рубль дал... за хлопоты...

– Что поминать об этом! Я век должен тебя помнить: кабы не ты...

– Да ты спроси у него, зачем пришел, – нетерпеливо перебила жена, выразительно указывая мужу на гостя. Тимофей замигал глазами.

– Кабы знал я примерно обо всех этих ваших делах, лучше бы и говорить не стал; как перед богом, не стал бы! – начал старик. – Вот что, брат Тимофей, слышь: ноне зимою, ехамши под Алексиним, повстречал я твоего брата; больше ничего; велел только кланяться...

Весть о брате произвела на Тимофея совершенно другое действие, чем на жену его: он не пришел в негодование, а, напротив, окончательно уже раскис; руки его опустились, голова свесилась – он весь опустился, как будто держался прежде помощью костылей, и костыли эти вдруг отняли.

– Что за диковина, право! Я, признаться, ума не приложу, о чем уж вы больно так сокрушаетесь, – сказал старик, разводя руками. – Знамо, худой человек, ну... ну, и бог с ним! Что слава-то худая, ну так что ж? Худые дела с ним и останутся – брат за брата не ответчик ни перед кем...

– Главная причина, – робко проговорил Тимофей, – на деревне проведуют...

– Это о чем?

– О том вот, что жив-то он и кланяться мне велел...

– Ну, брат Тимофей, в эвтом, признаться, виноват, погрешил. Главная причина, не знал я ничего об этих ваших делах, – произнес торгаш, – как быть-то! Начал спрашивать, где, мол, такой Тимофей живет, так и так, от брата, говорю, поклон привез... стали расспрашивать: тары-бары... ну, признаться, маненько, того... об этом потолковали... Ты не взыщи на мне, потому не знал я ничего этого...

– Проходу теперь не дадут! – проговорил Лапша, ударяя об полы руками с видом крайнего замешательства.

Все это, очевидно, столько же неприятно было жене, сколько и мужу. Неудовольствие ее особенно высказывалось взглядами, которые не переставала она бросать к той стороне двора, где располагались уличные ворота; она передала, наконец, ребенка дочери и нетерпеливо пошла к воротам; увидя нескольких баб, с любопытством смотревших к ней на двор, она выместила на них всю свою досаду.

– Ну, что стали?... народ только тешить, – с сердцем сказала она, возвращаясь на двор, обращаясь к гостю и мужу, – коли есть о чем толковать, ступайте в избу!

– Зайди, добрый человек, – проговорил Лапша, переминаясь.

– Я бы ништо, пожалуй; время к вечеру, уж солнце садится... ехать погодить надо до завтра, – простодушно вымолвил старик, – опасаясь вот только насчет воза, как будто на улице оставить не годится... не тронули бы...

– Пожалуй, дочка поглядит, – сказал Лапша.

– Погляди, касатка, пока с отцом посижу, – подхватил старик. – Очень уж, вижу, убивается... надо, примерно, поговорить с ним... Хоша я и не причинен, а все как словно через меня дело-то вышло...

Девушка укутала ребенка в ободранную отцовскую овчину, висевшую на плечах ее, и, обменявшись взглядом с матерью, пошла к воротам. Катерина³ последовала за мужем и гостем. Войдя в избу, маленькую, тесную и курную, с почерневшей печью в левом углу, старик набожно перекрестился перед иконами.

В настоящую минуту в избе было очень светло; кроме того, что низенькие окна, обращенные к западу, пропускали красноватый блеск огненного заката, последние солнечные лучи, скользнув из-под длинных багровых туч, играли – на правой стене; эти солнечные пятна, принимавшие вид пылающих угольев, разливали по всей избе золотисто-желтоватый полусвет, так что легко было различить предметы в самых дальних углах. В одном из них

³ Так звали Тимофееву хозяйку.

старик увидел женскую фигуру, сидевшую на лавочке. Приняв ее за родственницу хозяев, он поздоровался.

– Не взыщи, касатик, она ничего не смыслит, умом повредила, – сказал Лапша.

– С чего ж так?

– Так уж, видно, господу угодно, – подхватила Катерина, с явным намерением прекратить дальнейшие расспросы.

Гость сделал вид, будто остался доволен объяснением, но воспользовался первым удобным случаем, чтобы снова глянуть в угол. Безумная, которой всего было лет тридцать, сидела, поджав ноги и положив подбородок на колени; в руках у нее было полено⁴; оно было обернуто в тряпье; прижав полено крепко к груди и укачивая, как ребенка, она не переставала бормотать что-то скороговоркою под нос. Старик невольно покачал головою, но, встретив взгляд хозяйки, поспешил сесть на лавку подле Тимофея, который, казалось, все еще не успел оправиться от смущения: складки худенькой рубахи сильно изменяли дрожащим рукам и коленям; усиленно приподымая то одну бровь, то другую, он, видимо, старался ободрить себя; наконец после долгого переминая на одном месте, после взглядов, направленных к жене, которая прибирала что-то у печки, он кашлянул несколько раз и как бы собрался с духом.

– Где ж это ты... говорил, где... хм! хм! вишь одолел, проклятый... почитай... гм! почитай с самой вот осени... Где это ты... с ним встретился? – добавил он, сопровождая каждое слово пугливым взглядом, обращавшимся то к жене, то к гостю.

Катерина мгновенно отошла от печи и, судорожно скрестив на груди руки, нахмурил брови, остановилась подле разговаривавших. Гость очень охотно приступил к рассказу.

С первых же слов безумная перестала бормотать и подняла голову, едва прикрытую платком, из-под которого вырывались в беспорядке пряди белокурых волос; сначала она исключительно как бы занималась рассматриванием незнакомца; мало-помалу блуждающие голубоватые глаза ее остановились на одной точке, и лицо осмыслилось выражением страха; ноги ее свесились, шея вытянулась; с каждой секундой делалась она внимательнее; с именем Филиппа она задрожала всеми своими суставами и с выражением неопisanного страха скрыла полено под лохмотья одежды.

Присутствующие так были заняты своими собственными мыслями и соображениями⁵, что не замечали происходившего в углу, где сидела сумасшедшая. Рассказчик дошел таким образом до Степки, сына Филиппа. При этом в избе раздался вдруг такой крик, что старик, Лапша и его жена несколько секунд стояли как громом пораженные. Когда они опомнились, безумная лежала уже на полу, рвала на себе волосы, страшно колотилась головою оземь; посреди рыданий ее, от которых должна бы разорваться на части грудь ее, слышалось имя Степки, сопровождаемое всякий раз болезненно-мучительным стоном, как будто она умирает. Катерина бросилась к ней со всех ног.

– Дунюшка! Дуня! – заговорила она, придерживая ее одною рукою за голову, тогда как другая рука осеняла безумную крестным знаменем, – Дуня! полно, касатка!.. Христос с тобою!.. Послушай только меня, – подхватила она с особенною торопливостью, – слышь: Степку привели! там, в огороде стоит, сердечный... тебя дожидает... подь к нему, болезная, подь... Вот погляди-кась, вот этот самый дедушка привез его, на дороге нашел... большой такой стал... погляди-тка... подь к нему, родная, подь! – продолжала она, стараясь приподнять больную и время от времени высвобождая руку, чтоб привести в порядок рассыпавшиеся ее волосы.

⁴ Истертое и почерневшее полено от долгого пребывания в руках.

⁵ Старик не отрывал живых глаз своих от Катерины и ее мужа.

Дикое отчаянье Дуни, которую Катерина продолжала крестить и всячески успокаивать, перешло мало-помалу в притупленное внимание; вытянув шею с раздувшимися жилами и как бы прислушиваясь к отдаленным звукам, она не отрывала глаз от двери. Немного погодя она неожиданно встала на ноги и быстро побежала из избы, так что хозяйка едва успевала за нею следовать.

– Что за причина такая? – спросил старик, все еще находившийся под впечатлением удивления.

– Да вот с того самого дня, как брат увел парнишку, с того дня и повредилась... И прежде-то была как словно не в своем разуме... житье добре горькое было ей от мужа-то, а как увел парнишку, ну и совсем повихнулась, – проговорил Тимофей расслабленным тоном.

– Эка горькая, подумаешь! Стало, она у вас и живет?

– У нас; хозяйка пожалела, взяла... ничего ведь не сделаешь! – добавил Лапша.

– Что ж? доброе дело! вас за это господь не оставит. А я, признаться, Тимофей, маленечко того... погрешил против жены твоей, не знал я в ней такой добродетели... Уж очень с начатия-то она на меня взъелась, так вот и рвет!.. Теперь все у меня на виду, как есть, приметно... баба, значит, точно, душа в ней есть... хорошая, должно быть, баба...

Вместо ответа, Тимофей приподнял только брови и свесил голову. Дядя Василий с минуту поглядел на него молча, встал и подошел к окну, в котором все еще горело зарево заката.

– Я, брат Тимофей, все насчет, то есть, воза сомневаюсь, – молвил он, прикладывая красное добродушное лицо свое к стеклу и наклоняя набок голову, чтоб удобнее взглянуть на воз, – не напроказили бы там; время праздничное, народу много добре на улице-то.

– Ты бы его к нам на двор свез, – сказал Тимофей, которого более еще, чем старика, беспокоила мысль, что воз стоит у ворот.

Обращая на себя внимание стоявших на улице, воз невольно приводил на память причину посещения старого торгаша; о Филиппе начали уже забывать – и вот снова подымутся толки о нем. Этого весьма основательно опасался Лапша.

– Ничего, можно, пожалуй, и на двор свезти, – сказал старик, – я уж заодно бы у вас и ночевать остался. Куда теперь поедешь?.. Все одно, надо же где-нибудь... ты человек знакомый... сенцо у меня свое есть; а коли потребуется насчет, то есть, себя, я не то, чтобы... я заплачу как следует...

С этими словами вошла Катерина. Проводив Дуню, она, видно, зашла взглянуть на дочь, потому что ребенок снова находился на руках ее. Старик тотчас же передал ей свое намерение и, приняв минутное молчание хозяйки за согласие, суетливо вышел на улицу, которая из конца в конец оглашалась веселыми кликами игравших детей и песнею хороводниц.

III. Ребятишки

Спустя некоторое время на дворе заскрипел воз и послышался голос старика. Когда немного погодя Тимофей и жена его явились на двор, лошадка дяди Василья была уже выпряжена, а сам он суетливо развязывал кожу, прикрывавшую товары; он не переставал болтать с Машей, которая стояла подле. Солнце уже село, но над самым двором висело круглое румяное облако, которое делало предметы яснее и давало всему двору больше света, чем в иной полдень. С первых же слов старика Катерина и ее муж узнали, что он непременно настаивал на том, чтоб девушка взяла от него платочек на память.

– Что ты, батюшка, что ты! господь с тобою! – торопливо сказала мать, – она к этому непривычна, не надоть нам ничего... мы не из того тебя пустили.

– Нет, уж ты, матушка, не замай, брось, оставь ты это дело... уж это моя, примерно, забота... Как же, слышь, – подхватил он, принимая шутливо-озабоченный тон, – слышь, девки поют на улице, играют, потешаются... ну, знамо, и ей хочется – человек молодой! все любезнее будет, как новенький-то платочек повяжет... Ну, вот тебе, красавица, не побрезгай, возьми, – заключил старик, тряхнув пестрым бумажным платком и подавая его девушке, которая не трогалась с места.

– Мне... не надо, – проговорила она нерешительно, взглядывая на мать.

– Бери, бери; что уж тут! Бери, коли дают, – сказал старик, добродушно посмеиваясь.

– Ну, что ж! возьми, когда так... когда по душе дает, – сказала мать, обращаясь к дочери, которая взяла, наконец, платок, причем щеки ее вспыхнули, а лицо изобразило такую радость, как будто это был первый подарок со дня ее рождения.

– Ну, спасибо тебе, касатик, – подхватила мать, стараясь сохранить какое-то внутреннее достоинство, – нам хоша чужого и не надобно, а коли охота твоя такая, по душе дал, нам обижать тебя не приходится; спасибо, кормилец!

Тимофей умильно поглядывал на присутствующих и моргал глазами.

– Как уж и благодарить нам тебя! Не заслужили мы этого, касатик... Платок-то ведь, может, рубля два стоит! – промолвил он, наконец, голосом, словно не ему дали, а он вынужден был дать подарок.

– Есть о чем разговаривать! И весь-то всего гривенник стоит! – перебил старик. – Ты как из Оки-то меня тащил, не на гривенник мне добра сохранил. Вот случай привел хошь дочку твою потешить. Ну, что ж ты стоишь, красавица? Ступай, покажься на улице-то... вишь песни как знатно играют – и ты поди! – промолвил он, обращаясь к Маше.

– Что ж? сходи, поди, – сказала мать.

Маша как будто не решалась, совестилась, наконец вошла в избу; минуту спустя она явилась на дворе, повязанная новым платочком, и быстро юркнула в ворота.

– Много у вас детей-то? – спросил старик, провожая ее глазами.

– В чем другом, батюшка, в этом, кажись, нет недостатка: семья большая, – возразила Катерина, и первый раз на губах ее появилась улыбка.

– О-ох! – тоскливо простонал Тимофей.

– Ну, что охаешь-то? ох да ох! – смеясь, сказал старик, делавшийся веселее по мере того, как ознакомились с хозяевами. – О чем? что детей-то много? Это значит благословение божие.

– Шестеро человек! – произнес Тимофей с таким сокрушенным видом, как будто сам произвел их всех на свет и вторично предстояло ему родить их.

– Ты бы вот, Тимофей, на жену-то поглядел лучше... вишь: разве она ими скучает? а чай, больше твоего об них сердце-то болит; право, так! – добавил старик, указывая на

Катерину, которая в это время высоко подымала обеими руками младенца и заставляла его смеяться.

Дядя Василий хотел было что-то еще сказать, но прерван был звонким лаем, раздавшимся у самых ног его. Обернувшись назад, он увидел маленькую, шершавую, черную собачонку с стоячими ушами, вострой мордочкой, украшенной двумя желтыми крапинами над глазами и коротенькими кривыми передними ногами, расположенными как у танцмейстера; лай ее звенел, как тоненький колокольчик; шерсть на спине стояла торчмя, а хвост закручивался, вероятно от злобы, таким тугим кренделем, что, казалось, не было силы, которая могла бы его выпрямить. Застигнув врасплох чужого человека на своем дворе, она, без сомнения, вцепилась бы в икру его, если б вслед за ее появлением в воротах не раздались четыре тоненькие голоса, которые разом закричали: «Волчок! Волчок!»

Волчок тотчас же задвигал своим кренделем и полетел навстречу четырем мальчуганам, входившим во двор. Трое из них были еще очень малы – лет пяти, шести и семи; ручонками, вынутыми из рукавов, болтали они за пазухой, которая до того была набита всякой всячиной, что животы их казались втрое толще обыкновенного; одежда их, ноги с засученными выше колен штанишками и самые лица до того были выпачканы свежеею грязью, что мать раскрыла только глаза и отступила. Четвертый мальчик был лет девяти, с продолговатым оживленным лицом и черными умными глазами – вылитый портрет матери; но энергические, несколько резкие черты Катерины, перейдя к сыну, как бы смягчились и во многом напоминали отца. Одежда его, состоявшая из рубашонки и штанишек, также засученных выше колен, была, однако ж, чище и показывала в нем бережливость и даже внимание к самому себе; но пазуха была так же туго набита, как и у братьев.

Увидя незнакомого человека, первые три мальчика остановились сначала как вкопанные, потом бочком стали подбираться к матери и вдруг разом обхватили ее юбку; старший между тем поглядывая на старика и желая, вероятно, показать себя перед ним, топал ногою и посвистывал с самым серьезным видом, призывая Волчка, который снова заливался на гостя. Пронзительный лай Волчка мгновенно превратился в ворчливое визжание, потом Волчок подбежал к мальчику, прыгнул ему на грудь передними ногами и, развернув свой крендель, принялся мотать им во все стороны самым дружелюбным образом.

– Поди ж ты – а! вишь как его слушает! Сейчас отошла; а поди злющая какая! – вымолвил, посмеиваясь, старик.

– Нельзя же, – возразила повеселевшая мать, – она знает своего хозяина... Щенком взял; ноне зимою замерзлого, почитай, в дом принес, под плетнем где-то нашел... Уж такая-то о нем забота: хлебца дашь, и тот пополам делит; ну, она и слушает.

– Это значит свооо благодетеля почитает, добро его помнит... Эки вы, право, ласковые, добродушные какие! собак, и тех жалеете...

– Ах, отцы вы мои! да где ж это вы были-то? – заговорила вдруг Катерина, оглядывая парнишек, жавшихся у ее юбки, – смотри, как выпачкались!.. чумазые какие! Где вы были-то? Не отмоешь никак... так, смотри, теперь и останетесь.

– Ничего не сделаешь! – проговорил Тимофей голосом, как будто в самом деле нечего уже было делать, и дети его весь век останутся облепленными грязью с головы до ног.

– Где ж вы были-то? в лесу, чай?

– В лесу были, да очень добре вязко, не обсохло, – сказал старший мальчик, щелкая пальцами над головою Волчка.

– Отцы вы мои! глянь-кась, чего только не нанесли! – подхватила мать, отрывая поочередно от юбки то одного, то другого и начиная вытряхивать пазухи, из которых посыпались наземь камешки, трава, мох, прошлогодние жолуди и кусочки цветной глины, которую в изобилии находят в ручьях окрестных мест.

По окончании этой операции мальчуганы, дико смотревшие на гостя, снова припали головами к подолу матери.

– Эки молодцы какие! – смеясь, воскликнул старик, – право, молодцы! вот хошь бы этот пузан какой! – добавил он шутливо, тыкая пальцем в живот одного из них.

Но ребенок затрясся всем телом, открыл рот, закричал благим матом и затопал ногами.

– Полно, Костюшка! чего запужался, глупый? не бойся...

– Постой, постой! у меня вот тут есть штука такая... сейчас обзнакомимся, – вымолвил старик, направляясь к возу. – Костюшка, глядь-кась, что у меня? ась? – заключил он, подавая глиняный свисток, устроенный в виде какой-то фантастической утки.

Заслышав голос старика, обращенный уже к нему собственно, Костюшка еще глубже нырнул головою в юбку и не прежде, как когда раздалось восклицание его братьев, решился выглянуть одним глазком из своей засады.

– Ну, уж нечего, видно, делать, надо и других потешить, чтоб завидки не брали, – промолвил дядя Василий, снова направляясь к возу, между тем как Костюшка пялил глаза свои навывкат, рассматривая дудку, а мать рассыпалась в благодарностях.

Получив каждый по дудке, мальчуганы один за другим выпустили из рук подол матери, сбились в кучку, с минуту заглядывали друг другу в руки, потом приставили дудки ко рту и вдруг наполнили двор неистово дикими трелями, так что две курицы, совсем уже было заснувшие под навесом, стремительно ринулись наземь и, растопырив крылья, забегали как угорелые по всем углам.

– Ну, а ты, глазун, что на меня смотришь? – подхватил дядя Василий, потряхивая головою перед старшим мальчиком, ласкавшим Волчка, который присмирел, хотя все еще взвизгивал, когда старик подходил к детям, – вот тебе; глазун, на, возьми, – добавил торгаш, подавая ему маленький писанный образок, – ты постарше тех, тебе и вещь такая соответственная, – возьми.

Подарок привел мальчика в больший еще восторг, чем подарки, данные братьям; он бросился показывать его матери. Она, повидимому, совсем уже примирилась с гостем; известие, привезенное стариком и так сильно встревожившее ее и мужа ее, было ею, повидимому, забыто. Тимофей кланялся, двигал бровями, кашлял и моргал глазами.

– Эки чудные! за что благодарите... рази я даром?... вот вы меня за это покормите ужином...

– Душою рады, родной, не взыщи только... у нас ведь хлеб один.

Тимофей с видом бессилия замотал головою.

– А то чего ж еще? Вот! я не привередлив; быть бы только сыту... А эти молодцы забыли, никак, об ужине-то с своими дудками? – добавил старик, указывая на мальчуганов, прыгавших и наполнявших двор визжаньем.

Слово «ужин» напоминало им, однако ж, голод, который привел их домой, и они приступили к матери. Катерина пошла в избу и минуту спустя вынесла несколько кусков хлеба, словно отломанных от разных хлебов и собранных в разное время. Получив по куску, ребята бросились к воротам, то кусая хлеб, то дую в свои дудки.

– А ты что ж, Петя? и ты бы пошел к ним, батюшка! – сказала мать старшему, все еще не отрывавшему глаз от образочка.

– Нет, не хочется, – сказал мальчик, – я в избу пойду...

– Ну, подь, родной, подь, с нами поужинаешь, – сказала мать и, выждав минуту, когда муж и гость вошли в сени, погладила мальчика по головке и оглянула его с выраженьем особенного какого-то самодовольства и нежности.

IV. Беседа

Ужин, точно, не превзошел обещаний хозяйки: он состоял из обломков хлеба, накрошенных в чашку и приправленных кисленьким кваском.

– Где ж та-то... как, бишь, звать-то ее?... ну, вот, братнина-то жена? Что ж она нейдет ужинать? – спросил старик.

– Бродит, я чай, поближности где-нибудь, а не то в поле ушла; она теперь ни за что не придет, – отвечала Катерина, делававшая все доверчивее и словоохотливее, – она и все так-то, как придет случай вспомнать ей мальчика, словно в разум войдет; день, иной раз два дня домой не показывается: уйдет в лес либо в поле, ляжет наземь в укромное какое место, голову платком закроет... Слушать тяжело, какие словеса говорит; насилу домой приведешь... Петя, ты бы, батюшка, поглядел, сходил, нет ли ее где поближности, – заключила Катерина, ласково обратившись к мальчику, который уселся было подле старика и не спускал с него глаз. – Коли тут она, снеси-ка ей поди хлебушка. А там пошел бы к ребятам на улицу. Ну, что тебе с нами-то? Подь, родной; право-ну!

– Эки, подумаешь, горькие есть какие! – промолвил старик после того, как мальчик вышел из избы. – Вот и не стар человек, а сколько горя-то принял! Ну уж, точно, должно быть злодей был муж-то – правду люди сказывали. Шутка, сколько зла сотворил! Знамо, уж коли лихой человек навернется, и уйдет он, а все о себе весть подает, все сказывается! Однако я, тетка, в толк не возьму: он врозь жил с вами, в разделе, али вы вместе жили?

– Оттого вся беда наша, что вместе! – сказала Катерина, лицо которой вмиг утратило свою веселость.

– Как же это так? Видя через него себе такую погибель, вам бы надуть в тот самый час от него отрешиться. Ведь это, выходит, по охоте по своей в дому злодея держать – право, так!

– Охоты нашей держать его не было, – проговорила Катерина, скреживая на груди руки и потупляя голову.

Тимофей между тем притупленно глядел в землю, тяжело побрякивал и кашлял.

– Кабы знал ты, что это за человек был! Ни стыда в нем, ни совести! – проговорила, наконец, Катерина с выражением ненависти, которая закипала в ее сердце всякий раз, когда речь касалась Филиппа. – Мало ли билась я, мало ли колотилась, чего-чего ни делала: «не хочу, мол, да не хочу делиться!» – только и ответ его был. Каменный был человек. Как отец с матерью жили, все кой-как держался, опаску имел; а как померли они – и пошел и пошел, словно того только и ждал: так закурил, без удержи без всякого; а уж женат был и детей двое было; только один-то помер, остался в живности большенький – вот с кем ты на дороге-то встрелся. Вовсе не стал тогда ничего опасаться: тащит, бывало, из дому, что под руку попадет!..

Тимофей тоскливо замотал головою.

– Мне самой в эвти дела с начатия-то как словно не приходилось вступаться, – продолжала жена, – взята была я к ним в дом сиротою; приданого ничего этого за мной не было; знамо, совесть берет, сумленье. К тому и помоложе была в ту пору; скажешь только: «Филипп, бога-то хоть побойся!» а сама иной раз поглядишь так-то на своих на ребят⁶, погляжу так-то, да так вот сама и зальюсь. Иной день уйдешь от греха в лес с ребятенками, да там и проплачешь. Потом уж и терпенья моего не стало: вижу, совсем пришло дело к разоренью. Были у нас в ту пору две лошадки: он возьми да одну и уведи, и увел-то самую хорошую. Как проведала я, так инда кровь во всей во мне запечаталась! Пристала я к нему

⁶ Маше десятый годок был, Петя в зыбке лежал.

тогда, крепко пристала: «давай, говорю, делиться!» Хошь бы он что, дедушка; в глаза только посмеялся!..

– Чего ж ты-то глядел? и-их! – досадливо перебил дядя Василий, обращаясь к Тимофею, который продолжал кряхтеть, да пропускал между зубами какие-то неопределенные звуки. – Ты старший брат, тебе надо было сокращать его. Мало ли что можно сделать, – подхватил он, перенося глаза к хозяйке. – Сходили бы к господам, а господ нет, свели бы его к управителю...

– Ходила, батюшка, ходила я к управителю, – возразила она с такою живостью, как будто спешила оправдать мужа в глазах старика. – Увел это он у нашего кузнеца двух коней⁷; возьми да и продай их; знамо, и люди-то недобрые, что купили. Приходит опосля; мы ничего не знаем; приходит, да спьяну-то и расскажи обо всем. Ну, думаю, проведает – всех нас запутал, злодей! Пошла к управителю; думаю: авось после такого дела увидит человека, разделит нас – этого пуще всего хотелось...

– Что ж управитель-то?

– Да что, добре уж очень-то он у нас смирен, прост добре, к нашему крестьянскому делу непривычен, от господ поступил к нам. Знамо, потачки не дал: наказать наказал; а только зачем ходила, этого не взял в рассужденье, не велел делиться: «Хуже, говорит, тогда разоритесь; семья ослабнет, рабочих рук меньше будет». И добро бы, кормилец, было бы уж что и разорять-то; разорять-то уж было нечего; все решил!

– Эки дела, подумаешь, эки дела! – вымолвил старик, между тем как Лапша, приподымая то одну бровь, то другую, продолжал стонать и охать.

– Уж это, точно, и нет того хуже, как от домашних придет беда, – продолжала Катерина. – Ближняя собака, знамо, та всегда скорее укусит. Чужой человек придет, украдет – и нет его; и украдет-то, что под руку попадет; а как свой такой заведется, все одно что пожар в дому загорелся: ничего не утаишь, все пожжет. Целый год жили мы, так-то мучились. От одного сумленья, бывало, ночи не спишь, только и слышишь от баб: «добре, говорят, на тебя очень серчает. Она, говорит, показала на меня управителю; я ей, говорит, дам себя знать! будет помнить!» все так-то перед людьми похваляется... А сам хоть бы мне вид какой показал – весь в себе затаился. Знамо, оттого еще пуще сумленье берет... Кто его знает, что у него там на разуме-то! Только, бывало, и покажет себя, как за жену за его вступишься... Шибко бил он ее в ту пору, и бил-то так, ни за что, словно нам на зло – сердце такое имел каменное. Опосля уж и вступаться не стала: вижу, хуже, серчает только. Слышим мы, на стороне, говорят, опять стал безобразничать: в дому-то взять нечего – раза два у соседей поймали...

– Что ж управитель-то? опять в вотчине оставил? – спросил старик полусердито-полунасмешливо.

– Может статься, и услал бы куда-нибудь, да уж последних этих его делов не знал управитель: стали таить от него; всякий, вестимо, за себя опасался. «То, говорит, наделаю, – грозит так-то по деревне: – вам, говорит, и во сне того не вкинется!» Бояться стали, не поджег бы как: знамо, от такого человека все станется. Пуще всего я за ребят за своих боялась; не одна, сказывали бабы, не одна страшал ими... Такой страх напал на меня! Работу, бывало, возьмешь, так вот из рук и валится, особливо когда ребят дома нет; все думается: не сотворил бы худобы какой; ни днем, ни ночью покою не было. Страшал, страшал, а под конец сам, злодей, загубил себя, – присовокупила она после минуты молчания. – Остановился раз у нас купец: ехал в Тулу, сказывают; метель захватила его; он к нам и заехал, у старосты ночевать остался. В эту самую ночь у него деньги-то и пропади; и денег-то, вишь, много было. Хвать-похват... за становым послали, начали спрашивать: тут миром на Филиппа и показали. Вестимо, уж все были о нем известны! Взяли это его, повезли, в

⁷ Своих-то уж не было – извел, разбойник.

суд представили... Уж чего, кажется? он взял, его было дело: окромя некому; так нет же, поди, всех начал путать: на того покажет, на другого покажет, всю, почитай, деревню так-то запутал, всех в суд таскали. Под конец сам же ведь во всем повинился: «мое, говорит, дело!» Сами, признаться, обрадовались, как в острог его засадили. «Брат, брат, да и бог с ним! – думаем: – никто не понуждал, сам того захотел!» Маненечко без него вздохнули. Одним сучали: через него народ-то очень нами обижался; всем горек был – все на нас и напали. Первое время и на улицу-то выйти не смей: так всякий тебя в глаза и позорит; за водой пойдешь – у ворот-то топчешься, топчешься, бывало... А все радуешься: слава ти боже, думаешь, ослобонил господь!.. Что ж бы ты думал, дедушка? Ведь этим злодей не кончил: и осудили его и в острог засадили – нет, опять показал себя! К весне время было; раз вдруг пропал у нас паренек, его-то сынишка. Туда-сюда искать кинулись – нигде нет. До смерти перепугались! Тем временем и слухи пришли: слышим мы, бежал Филипп из острога! Тут и догадались: его было дело! Должно быть, ночью как-нибудь забрался к нам, да и увел его. Вот и ты сказывал, видел его с парнишкой...

– Рыженький такой?

– Ну, да; он и есть! Вот с той самой поры она, сердечная, Дарья-то, она в уме и повреди-лась. Надо сказать, злодей был: и себя погубил и своих-то всех, да и нас-то, почитай, к тому подвел! Сказать нельзя, сколько мы от одних людей-то через него натерпелись, батюшка; уж на что ребятенки наши, и тем проходу не давали: всякий корит да хаёт! Мы за это не серчаем, бог с ними! Знамо, обидно: потому мы ни в чем ни словом, ни худыми делами, никаким этим делам его, ни в чем, дедушка, не причастны.

– Вижу, матушка, вижу! – возразил торгаш, – очи ушей вернее; на правду немного слов надобно!

– Проходу теперь опять не дадут! – неожиданно заговорил Тимофей, опуская ладони на колени, – начали как словно забывать его... и нас, как словно, не трогали... теперь, как проведали, жив он, опять житья нам не будет!..

– А пушай их! Слышь, что жена-то говорит? Пушай! – сказал старик, – совесть своя чиста: стало, и сокрушаться не о чем! Живите себе смирно, никого не трогайте; бог, мол, с вами, когда так – да! А главная причина, самому, брат Тимофей, не след тебе так, чтоб уж очень опускаться, – прибавил он увещательным тоном, – надо по мере силы возможности хозяйке подсоблять – вот что! трудиться, хлопотать надуть... А то что хорошего?..

– О-ох! – простонал Лапша, которого снова начал давить кашель, – ничего не сделаешь... Всем добре много очень задолжали, никак не осилишь... так задолжали, сами того не стоим. Вот теперь и то уж стращать зачали, как проведали, господа едут... жаловаться хотят!..

– Может статься, это так только народ болтает; может, господа-то не приедут...

– Нет, точно, касатик, едут. На прошлой неделе к управителю писали: беспременно, сказывали, будем! – заметила Катерина.

Тимофей знал не хуже жены обо всех подробностях касательно несомненного приезда господ, а между тем слова ее подействовали на него почти так же, как если б услышал он величайшую новость. Робкие, пугливые люди нетерпеливо всегда ожидают, чтоб им противоречили или обманывали в том, в чем они сами уверены и даже что очевидно. С последними словами Катерины Тимофей окончательно упал духом. Он ударил ладонями о колени, замотал головою и выразил желание умереть как можно скорее.

– О том только и прошу господа! – заключил он, свешивая на грудь голову.

– Полно, полно! ну куда тебе умирать! зачем? – перебила жена увещательно, тогда как лицо ее ясно говорило, что мысли и чувства ее, встревоженные воспоминаниями о Филиппе и вообще предшествовавшим разговором, далеко не были мирного свойства. – Ну что ж, что хотят жаловаться? пушай их! Я сама к господам пойду: «взять, скажу, нам неот-

куда», сама просить стану: пускай пошлют в другую вотчину, к должности какой приставят... Лучше в чужом месте жить, лишь бы покой был. Здешняя-то жизнь у нас вот где сидит... Все сказывают: у нас господа-то добрые; они в толк возьмут. Надеть радоваться, стало быть, что едут, а не то, чтобы... Слышь, дедушка, умирать собирается!.. Ну, ты помрешь; а мы-то как без тебя останемся? Куды я тогда с сиротами-то денусь?.. Ах ты, разумная твоя головушка! – заключила она почти весело и, очевидно, с тем лишь намерением, чтоб ободрить мужа и польстить ему.

Слова эти точно подействовали как будто ободрительно, но не столько на самого Лапшу, сколько на его брови, которые тотчас же пришли в движение и начали приподыматься на узеньком лбу; но это слабое выражение бодрости прошло мгновенно, когда старик спросил, являлся ли к ним Филипп с тех пор, как увел мальчика. Робкий, пугливый взгляд, брошенный Тимофеем на жену, и смущение последней не были, однако ж, замечены торгашом: он сидел потупясь и задумчиво потирал лоб и лысину. Перекинувшись новым взглядом, муж и жена поспешили сказать, что с той поры о Филиппе не было ни слуху ни духу. После этого ответа беседа тотчас же почти прекратилась. Ее прервал шум в дверях и приход детей.

– Пойти поглядеть на лошадь, подбирает ли корм, – произнес старик, приподымаясь с места.

– Пойдем, – подхватил Тимофей, следуя его примеру.

– И я с вами пойду! – сказал Петя, старший из мальчиков.

– Ну, пойдем, ласковый, пойдем, – вымолвил повеселевший старик, глядя его по голове, – пора уж, я чай, и на боковую. Завтра рано надо подыматься. Спасибо тебе, хозяйшка, за хлеб, за соль, за угощенье... а пуше за ласку за твою.

– Не на чем, батюшка...

Старик, Тимофей и мальчик выбрались на двор, где немедленно присоединился к ним и Волчок.

Синяя звездная ночь давно уж обняла небо. Полный месяц стоял высоко, и черная тень от навесов, изгибаясь по столбам, перерезывала двор пополам. В непроницаемой тени одного из углов слышалось мерное чваканье лошади. Извне, с улицы, все еще неслась песня, и по временам долетали хохот и говор; хоровод, очевидно, однако ж, убавился наполовину; самые голоса тянули как-то слабее, сонливее. Время от времени песня словно обрывалась, переходила в один трепетный, замирающий звук, и тогда с разных концов деревни, из старого барского сада, из рощи, из болота раздавались совершенно неожиданно звонкие соловьиные перекаты.

Осмотрев лошадь и ощутив воз, торгош, сопровождаемый Лапшой, мальчиком и Волчком, направился к риге, месту ночлега. Войдя в ригу и отыскав себе угол, старик оставил товарищей, а сам вышел в загородь и, повернувшись к востоку, долго крестился. Когда он возвратился назад, Тимофей и его сынишка уже спали; один только Волчок бодрствовал, но и он, впрочем, успокоился, как только увидел, что старик улегся на солому, покрывшись полушубком. Дядя Василий долго не мог сомкнуть глаз; все слышанное и виденное им в этот день поневоле занимало его мысли. Переваливаясь с боку на бок, он то прислушивался к песне, все еще не умолкавшей в отдаленье, то к раскатам соловья, раздававшимся поблизости, то устремлял глаза к звездному небу, которое глядело на него сквозь многочисленные щели навеса.

Мало-помалу все эти звуки стали как будто слабеть и отдаляться... тише, тише, и, наконец, по всей окрестности воцарилось мертвое молчание.

V. Притон

Для дальнейшего развития предполагаемой повести нам необходимо теперь перенестись верст за восемь от Марьинского, в деревню Чернево.

Чернево расположено по обеим сторонам большой дороги, уже теперь совершенно почти заброшенной благодаря шоссе, которое проходит верстах в восемнадцати. Тут прогоняют только гурты и проезжают обозы из окрестных деревень. Середина деревни прерывается небольшой лощиной, так что, миновав одну половину деревни, вы никак не попадете на другую, не засеив сначала на дне лощины; грунт до того рухл и вязок, что не в силах держать в границах ручья, который расплзается во все стороны и превращает все это место в густой кисель, местами покрытый ржавчиной. Здесь спокон веку вязнут возы, и колеса уходят по ступицу. Через мост, возвышающийся влево на столбах, очевидно еще опаснее ездить: это один из тех мостов, который, как говорится, не марает, да ноги ломает. Глухою осенью, когда проходит дождливая пора и мороз скует грязь, изрытую копытами и колесами, путь через Чернево делается окончательно невозможным. Нет деревни, которая так хорошо оправдывала бы свое прозвище: ее обступают темные черноземные поля, не оживленные ни одной рощей. Избы по обеим сторонам дороги тесно лепятся друг к дружке и представляют однообразно-скучные ряды серых бревен, ворохов бурой соломы и кривых плетней. С того времени, как заброшена дорога, самые дома кажутся какими-то заброшенными; в косой дождь, когда стены избышек намокнут, их трудно даже отличать от грунта. Серое без просвету небо, дождь, глухая осенняя пора идут, впрочем, как-то к Черневу; вообще говоря, Чернево – неза-видное место.

Влево от дороги дно лощины замыкается грубой земляной плотиной, из которой вкривь и вкось торчат пучки хвороста; две старые ветлы, обезображенные галочьими гнездами, похожими издали на наросты, предохраняют плотину от верного разрушения в паводки. С правой стороны лощина несколько живописнее: грязь постепенно зарастает травой, и немного далее виднеется уж лужайка – любимое убежище черневских гусей и уток. Ручей собирается в одно русло и на пространстве трех сажен делает несколько изворотов; лениво, чуть видно течет он в мягких берегах своих, кажущихся по местам совершенно голубыми от множества незабудок; лист, брошенный в воду, почти не трогается с места, и вы десять раз сядете от усталости, прежде чем он отплывет на аршин; гнилые корни, принимающие в воде подобие волнующихся косматых волос, а также и железная руда, образчики которой находят в лощине, сообщают ручью какой-то буро-золотистый цвет. Шагов двести далее ручей уже пропадает в осоке и тине, которая так плотна и зелена, что часто обманывает пешехода: думая ступить на траву, он прямехонько бултыхается в воду по пояс.

Недалеко от этого места, которое называется «благим»⁸, находится крошечная одинокая избенка. Далее нет уж жилья; далее идут, то расширяясь, то суживаясь, обнаженные щеки лощины, которая огибает вместе с ручьем большое пространство; в этом ручье, верст восемь дальше, марьинские бабы полощут белье. Избушка, о которой мы упомянули, бросается в глаза своею ветхостью; она, кажется, минуты бы не удержалась на своем основании, если бы не прислонилась одним боком к обрыву. Передняя стена ее наполовину закрыта завалинкой; единственное волоковое окно смотрит словно из земли; со стороны входа устроен род сеней из плетня, на котором видны еще следы глиняной штукатурки; солому на кровле лет десять уж не сменяли; местами она совсем истлела и выказывала жерди и хворост, местами сползала книзу и свешивалась волнистыми буграми, под которыми так любят прятаться воробьи во время осенних ливней и зимних метелей.

⁸ Тут когда-то в глухую осеннюю ночь утонул мужик – совсем утонул, с возом и лошадью.

Лачуга, построенная давным-давно отставным солдатом, переходила несколько раз от одного хозяина к другому, пока, наконец, лет десять назад не сделалась собственностью одной старухи, черневской уроженки; она занималась знахарством и жила совершенно одиноко.

Грачиха⁹ пользовалась большою известностью по всему околотку; ее знали верст на двадцать в округности. Не могу вам сказать, с которого времени Грачиха начала пользоваться такою популярностью и с чего именно началась ее известность: знаю только, что трудно было найти в соседних деревнях мужика и бабу, которые хоть раз в жизни не имели бы в ней надобности. Кроме знахарского дела, которым занималась она успешно – потому что никто лучше ее не мог заговорить от пострела, никто так скоро не возвращал здоровье корове, переставшей доиться, ничье sprыскиванье не исцеляло так верно от тоски наносной, потрясихи, ушибихи и других недугов – кроме всего этого, Грачиха чуть ли еще не успешнее занималась ворожбой и колдовством. Не было почти случая, чтоб обокраденный человек не находил пропавшей вещи, если только прибегал во-время к Грачихе.

Раз у марьинского мужика увели лошадь. Мужик метался как угорелый двое суток по всем дорогам без малейшего толку; в одной из деревень ему сказали, что видели накануне какого-то оборванного человека, проскакавшего во весь дух на лошади, во всем схожей приметам с пропавшей, – где уж тут искать?

Мужик махнул рукою и поплелся домой. Дома жена и родственники приступили к нему: сходи да сходи к Грачихе; мужик взял посулы: штоф вина, полтинник, полотенце, и отправился в Чернево. В первый приход Грачиха ничего не открыла, сказала только, что вор близко, и велела зайти на другой день. На следующий день она несравненно долее против первого раза ходила вокруг чаши с водою, поставленной посреди избы, чаще нагибалась, смотрела в воду, шептала и объявила наконец, что вор человек дальний, что искать его нет уж надобности, что силою своего заклинанья она отняла у него лошадь, которая стоит теперь в осиновой роще. Мужик кинулся на показанное место – и, точно, нашел лошадь... Но не перечесть всех чудес черневской колдуньи; достаточно, кажется, приведенного случая, чтоб убедиться, что Грачиха, точно, находилась в таинственных сношениях с «лихим человеком».

Встречались, однако ж, люди, которые не давали веры ее связи с нечистым; носились слухи, будто Грачиха давала приют вора и мошенникам всякого рода; но слухи ничем не оправдывались, и, наконец, те самые, которые распускали их, напрямик отклепывались от своих слов, когда дело доходило до положительных объяснений. Из этого видно, что даже смелые головы околотка хорохорились на словах; на самом же деле внутренне разделяли страх, который повсеместно внушала Грачиха.

С виду она не представляла ничего особенного. То была низенькая сгорбленная старуха; ее походка и голос показывали, впрочем, крепость и здоровье. Из-под дырявого платка, прикрывавшего ее голову и местами пропускавшего клочки серых волос, выглядывало худощавое лицо земляного цвета, сморщенное, как чернослив; тонкий, несколько кривой нос состоял, казалось, из одного хряща, заостренного, как у хищной птицы; рот, лишенный зубов, провалился и делался весьма похожим на петлю, крепко стянутую ниткой. Старуха поминутно надвигала на лоб головной платок, чтобы защитить от света больные глаза, страдавшие от золотухи; но в этом народ находил новый повод к рассказам: говорили, что у Грачихи красные глаза.

Что ж касается до внутреннего вида лачуги, она ни в каком уже случае не могла дать повода к суеверным вымыслам. В жилищах наших ворожеек и знахарок вообще редко встречаешь внешний признак, имеющий какое-нибудь отношение к их ремеслу: ремесло само по себе так сильно действует на воображение простолюдина и такую приносит выгоду зна-

⁹ Так звали ее.

харке, что нет надобности прибегать к вспомогательным средствам. Войдя в лачугу Грачихи, вы подумали бы сначала, что тут никто не живет. Свет, проходивший в волоковое окно, вырубленное в одном бревне, смутно освещал угол печи и часть грубой дощатой перегородки, которая шла от угла печи и упиралась в стену, где было окно. Земляной пол, вырытый в вязкой почве лощины, распространял кислый запах, хватавший за горло; при свете лучины в углах и на потолке выказывались беловатые селитряные пятна; сырость покрывала липким слоем дерево и сверкала каплями в шершавых полосах мха, которые чернели между бревнами. В этой половине своей лачуги хозяйка принимала посетителей и совершала свои заклинанья. Грачиха жила собственно или на печке, или за перегородкой. Там нашли бы вы и кадушки, и ухват и горшки – словом, всякую домашнюю рухлядь. Волоковое окно, такой же величины, как и в первой половине, позволяло различать стол и лавки, расположенные прямо против жерла печки. Одиночество старухи не было совершенно исключительно: его разделяла во всякое время дня и ночи тощая желтая кошка с зелеными глазами, светлыми и блестящими, как стекло.

В тот самый вечер, как началась наша повесть, часами двумя-тремя после появления торгаша в Марьинском, за перегородкой горела лучина. Грачиха была не одна. На скамье за столом сидели человек средних лет и мальчик; перед ними лежали обломки хлеба, возвышалась солоница и чашка с кашей. Жадность, с какою оба припадали к еде, ясно показывала, что они недавно вошли и первым их делом было позаботиться об удовлетворении голода. Ворчливое лицо старухи не оставляло сомнения, что она была не рада гостям; она даже и не скрывала своего неудовольствия: роясь подле печки без всякой видимой цели, она не переставала ворчать и с сердцем отталкивала каждый предмет, попадавшийся ей под руки.

Но человек, сидевший за столом, мало, по-видимому, об этом заботился: он продолжал уписывать кашу так же усердно, как будто пришел домой после тяжелой полевой работы.

Ему было лет за сорок, и ни одна еще седина не серебрилась в его черстных, черных как смоль волосах, рассыпавшихся нечесаными кудрями по всей голове; лицо его, оканчивавшееся коротенькой, но густой бородкой, было бы красиво, если б не портил его тот отвратительный болезненно-бурый цвет кожи, местами покрытый свинцовыми оттенками, цвет, исключительно почти свойственный бродягам, арестантам или людям, ведущим самую беспорядочную, неправильную жизнь. Небольшие серые глаза, оттененные жесткими бровями со множеством маленьких вихров¹⁰, отличались подвижностью, и если останавливались на одном предмете, то смотрели невыразимо плутовато и бойко. Бойкость взгляда не совсем, однако ж, отвечала общему выражению физиономии: не было черты, которая обозначала бы решимость, энергию; все в ней было как-то мелко, хоть правильно, и выказывало приросту в высшей степени порочную, хитрую, но лишенную настоящей отваги и смелости. Голова его, приплюснутая с боков, отвесно почти срезанная на затылке, была резко заострена на макушке. Есть лица, которых нет возможности забыть, хоть встречаешь их раз, да и то мельком; большею частью вас поражает в них не столько резкая особенность, сколько самое выражение или мелкая черта: родимое пятно, рябинка и проч. Так в человеке, представленном вниманию читателя, трудно было забыть его тонкий нос с горбиком посередине и подвижными, приподнятыми ноздрями, которые открывали с обеих сторон часть носовой перегородки; нос этот никогда уж не изглаживался из памяти, и стоило только припомнить эти открытые ноздри, как уж все лицо тотчас же ясно обрисовывалось. Одним словом, это была фигура, которая поразит не совсем приятно при встрече в лесу... Одежда незнакомца состояла из бараньего полушубка, покрытого заторами и прорезами; правое плечо и локоть выглядывали наружу; вместо петель и пуговиц чернели только ямки; на груди выставлялась разодранная стеганая на вате манишка, какую носят подгородные мещане, фабричные и сол-

¹⁰ Знак строптивного, беспокойного нрава.

даты; из-под зеленоватых сермяжных панталон, протертых на коленях и зазубренных внизу, выступали ветхие лапти, переложённые соломой. Дороги теперь, особенно бойные, совсем уж пересохли; грязь, покрывавшая лапти незнакомца, невольно заставила подозревать о случайной ходьбе, то есть такой, которая вынуждала его оставлять бойные, всеми посещаемые дороги и пробираться полями.

Те же следы грязи были и на лаптишках мальчика-карапузика, лет десяти, с отчаянно плутоватой, насмешливой рожицей. Круто вздернутый нос, оканчивающийся вострячком, принимал вид толстой, коротенькой запятой, обращенной острым концом кверху; верхняя губа его, рассеченная пополам, и острые зубы, расположенные углом, как у грызунов, делали его похожим на зайца; щурившиеся карие глазки далеко, однако ж, не отличались заячьими свойствами: в них светилось почти столько же хитрости и лукавства, сколько в глазах его товарища; этим, впрочем, и ограничивалось сходство; волосы мальчугана, жесткие и почти красные, торчали востряками во все стороны, что делало голову его весьма схожею со встрепаным артишоком; лохмотья, еще безобразнее, еще обношенное, чем у товарища, покрывали члены ребенка, отличавшиеся здоровьем и силой.

– Тетка Лукерья, слышь! что уж тут? угощать, так угощай! – начал незнакомец, отодвигая чашку с кашей к мальчику, который казался ненасытным, – полно скупиться... Ну, для старого-то дружка угости, касатка! – прибавил он тоном принужденной веселости, как бы заранее сомневаясь в успехе своей просьбы.

И точно, вместо ответа старуха толкнула только заслонку печи. Мальчик, смекнувший, видно, причину ее неудовольствия, звонко засмеялся.

– Ты что, пострел, зубы-то скалишь?.. туда же! Ел бы, когда некупленным кормят! – проговорила Грачиха.

– Слышь, тетка, один стаканчик всего: заслужу! – подхватил незнакомец.

– Спасибо скажи, что пустили-то, – вот что! – сердито проворчала колдунья. – Много вас здесь шляется! А ты чему обрадовался? давай! – неожиданно заключила она, подходя к столу и протягивая руку к чашке с кашей.

Мальчик одним быстрым движением скрыл чашку под стол. Выходка эта окончательно рассердила старуху; она разразилась бранью и протянула руки, чтоб ухватить мальчишку за волосы; ребенок быстро откинул назад голову, запрятал чашку еще дальше под стол, смеялся и смотрел на нее своими плутовскими глазами. Грачиха, без сомнения, не совладала бы с пострелом, если б не вмешался незнакомец.

– Отдай! – сурово крикнул он, ударив кулаком по столу. Мальчик нимало, по-видимому, не смутился и отдал чашку.

– Эх, Лукерьюшка! – заговорил тогда незнакомец, – забыла, знать, старого дружка, не нужен стал теперича! То-то вот и есть, не по-нашему значит; по-нашему: знал дружка в радости, не оставляй в горести.

Он покосился на мальчика и, заметив, что тот исподтишка толкал ногою ухват, чтоб уронить его наземь, дал ему подзатыльника и после того продолжал как бы ни в чем не бывало:

– Признаться, на тебя на одну только надеялся, право так. Вот, думал, приду в свои места, тетка Лукерья выручит. Помнючи, примерно, прежнюю твою добродетель, как в те поры выручила, так все одно, примерно, и теперь в надежде был... Э-эх-ма!..

Он приостановился, провел ладонью по волосам, пожал губами, крякнул и, пристально устремив глаза на старуху, продолжал выпытывающим голосом:

– Как еще шел-то к тебе, словно к сродственнице шел!.. Думал еще деньжонками у тебя позаняться – вот как...

Старуха, стоявшая лицом к печке и обнаруживавшая самое полное равнодушие к словам гостя, вдруг обернулась.

– Ступай, ступай, отколева пришел! – крикнула она, выказывая такую досаду, как будто в словах гостя заключалась горькая обида, – дали тебе есть: чего еще? ну и ступай!

– Да ты выслушай... полно сердчать-то... выслушай...

– Коли шел затем, – подхватила она, разгорячаясь, – шел бы не ко мне, шел бы лучше...

– Куда? – с суровой усмешкой перебил гость.

– Туда... знаешь... – начала было старуха и вдруг замялась и остановилась, повинувшись взгляду, которым гость указал ей на мальчика.

– Степка! – отрывисто сказал незнакомец, – сыт теперича? Ну и ладно. Пошел в сени либо выйди к ручью... походи там маленько; далеко не ходи, смотри – слышь?

– Мне не хоцца, я здесь посижу, – бойко возразил мальчик.

– Ступай! – запальчиво крикнул незнакомец, делая движение, чтоб привстать с места, и замахиваясь.

Но и в этот раз угроза, казалось, слабо подействовала на мальчика; он только откинулся в сторону; на губах его появилась лукаво-насмешливая улыбка, которая ясно показывала, что он очень хорошо понимал, зачем хотят его выпроводить. Улыбка эта не сходила с лица его; и во все время, как пятился он к двери, щурившиеся глаза его переходили от старухи к ее товарищу.

– Добре смышлен! – сказал незнакомец, когда мальчик вышел из лачуги, – главная причина – шустёр очень, плутоват, окаянный; слово скажешь, глазом мигнешь – смекает. Неравно что и сболтнет... Шибко связал он меня!

– Точно приневоливали; сам взял! – неохотно проворчала Грачиха.

– Жену поучить хотел, потому больше, – сурово возразил гость, – вижу, стала держать их руку, я его и увел. Выходит, только себя наказал. Пожалуй, опять бы теперича отдал – лишняя только тягота – да первое дело мать умом повихнулась; второе дело, опасно: болтать станет; все смыслит, даром на вид не казист; везде таскал с собою, мало ли что видел; где, примерно, бывал – обо всем этом поведает... И то кажинный раз как туда иду, не беру с собою – опасно, боюсь, мать признает, люди увидят.

– Что ж ты его, разбойник, ко мне-то привел? – крикнула Грачиха.

– Эка вздорная какая! Дай сказать! – с досадою перебил гость, – рази кто нас видел, как сюда шли? И то в лошине сидели, ночи дожидались...

– Ступай, ступай! ну вас совсем! Я чай, рыщет теперь пострел... уйдет еще на деревню, наткнется на кого, все тебя знают по всему околотку. Ступай; ну вас! Ступай, говорю!

– Полно, тетка, перестань! – начал упрашивать гость, – коли только из этого, духом сбегая, приведу его; ночь темная – никто не увидит. Дай, слышь, дай хоть ночь-то переночевать! Лето придет, в лесу тепло будет, не стану тревожить. Сделай милость, не сумлевайся... Эка, право, какая!.. Сейчас кликну, здесь будет.

И, не дожидаясь возражения, он кинулся вон из лачуги. Несколько минут спустя в сенях послышался голос его и голос мальчика; он снова вернулся за перегородку.

– Чего опасалась? Он тут подле избы сидел; ничего, говорю; из сеней теперь не выступит, – проговорил бродяга, между тем как старуха вставляла новую лучину. – Эх-эх! пришло, знать, и мое времечко! – добавил он, выразительно потрянув кудрявою своею головою.

Он прошелся раза два от печки к столу, сел, провел ладонью по волосам, потом снова встал.

– Тетка, слушай, – сказал он тоном упрека, который худо скрывал досаду, отражавшуюся в каждой черте лица его, – слушай: не знаешь, где найдешь, где потеряешь!.. Полно, тетка! – подхватил он, смягчая речь и голос, потому что первые слова его не произвели ни малейшего действия на старуху, – ну за что сердчаешь, за что? Провалиться, не ведаю!.. Хлеба, и того стало жаль. Полно, говорю, не бог знает чего прошу... Прошу: не оставь!.. Нужда шибко взяла, потому прошу... Вишь, как обносился, вишь, смотри, – примолвил он, пово-

рачиваясь к ней то одним боком, то другим и выставляя напоказ прорехи и заплаты, – тоже, вишь, и лаптей нет... Право, пособи... А уж насчет, то есть... за себя постоим! Скажешь: Филипп, сделай то, – тут и есть! Укажи только, укажи на какое хошь дело... нам рази впервые с тобой видаться?.. Шепни, Примерно, у кого какая лошадь – завтра же к тебе придут за нею, в упрос просить станут...

– Не надыть, не проси... ничего не дам! – упрямо сказала старуха.

– Ты думаешь насчет парнишка, то есть, связал меня? он помешает?

– Хоть бы так...

– На то время можно здесь у тебя оставить...

– Нужда мне с ним возиться! Кто за ним усмотрит? Вишь он, окаянный, шустрый какой!..

– Слышь: выручи только, об одном прошу; выручи; каяться не станешь; выручи только... хоть на время выручи...

– Стало, уж там взять-то нечего? туда бы шел! – перебила Грачиха.

– Был и там, вечер еще был, – торопливо подхватил Филипп. – Коли тебя пришел просить – без толку, стало быть, ходил: не токма денег, хлеба, и того нет. Я уж и так и сяк стращал – ничего не возьмешь; уж это, значит, верно, что нет ничего; а то бы дай, мое было бы; пострадай только его – брат ничего не утаит... Мы это дело-то знаем, как с ним справляться: не, впервой!.. Потому больше к тебе и пришел: нужда заставила. Сделай милость, Лукерьюшка, пособи! – снова пристал Филипп, – так, малость самую... тревожить больше не стану, уйду; и то сказать, опасливо теперь здесь оставаться. В другое время – ништо, пожил бы; теперь убираться надо. Узнал я вечер, как к брату ходил, сказывали: господ ждут; не ноне, завтра ждут; при них как раз сцапают... надо убраться во-время, потому больше и прошу: пособи, тетка, сама знаешь, без лаптей недалеко уйдешь.

На этом самом месте в сеничках, где находился мальчик, послышался вдруг такой дикий крик, что Филипп и старуха дрогнули всем телом. Не успели они сделать шагу, как новый крик, еще диче, пронзительнее, раздался в сенях. Филипп кинулся было к лучине с намерением потушить ее, но Грачиха остановила его, сказав: «погоди», и, ковыляя, побежала к двери.

– Кто тут? – спросила она.

В ответ на это над самую ее головою повторился новый крик, еще звонче, еще отчаяннее первых двух.

– Ах ты, разбойник! – закричала старуха, тотчас же, вероятно, смекнув, в чем дело. – Постой! я ж тебя, окаянного!.. Эй, Филипп! – подхватила она, торопливо возвращаясь в избу, – это твой пострел с кошкой... Кошку куда-нибудь, разбойник, запрятал... Я ж ти, погоди!

Грачиха взяла лучину и побежала в сени; Филипп последовал за нею. Крики становились все жалобнее и протяжнее. При свете лучины старуха, точно, увидела желтую свою кошку, которая болталась на перекладине, привязанная к хвосту. Мальчик, свернувшись клубком в углу сеней, спал крепким сном; но храпенье, которое издавал он для вящего эффекта, изменило ему: старуха налетела на него, как разъяренная наседка, проворно перенесла лучину в левую руку и правой рукою схватила его за волосы; мальчик тряхнул головою – и, не подоспей во-время отец, он укусил бы старухе руку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.